



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Двадцать третий сборник «Знания»

II. СВЕТ ВО ТЬМЕ

Свет во освещение языков и слава людей твоих Израиля.

1

Критики «Исповеди», как марксисты (Львов в «Образовании»), так и не марксисты, как будто сошлись в одном: «“Исповедь” во всяком случае знаменует собою если не отказ, то некоторое отдаление Горького от марксизма».

Да, всякое движение вперед или выяснение сущности того или другого учения марксизма — есть удаление от марксизма, тогда — да!

Мы понимаем, что врагам марксизма очень хотелось бы считать его ныне и присно и во веки веков «сухой догмой», выдать его за нечто мертвое, как глыба камня, неспособное к жизни и развитию. Такая позиция дает возможность отсекалть от марксизма всякую живую ветвь его, как незаконное новообразование, как болезнь, и осудить его на бесплодность, на пребывание косной величиной среди вечно развивающейся жизни. Мы понимаем выгоды такой позиции для врагов марксизма. Да и то сказать, они могут искренне верить в окаменелость марксизма потому, что внутри марксизма они не бывали, живой сути его не понимают. Что вы станете требовать от какого-нибудь Философова?

Но марксисты! К сожалению, попадаютя и среди них люди, которым как будто некогда разбираться в разных «новых выдумках» и которые хотят быть спокойны насчет теории. Почаще бы вспоминали слова Бебеля¹, отнюдь не ярого и легкомыс-

ленного новатора. Вот что говорил немецкий ветеран на ганноверском партийтаге (1890 г.):

«Объявление кого-либо еретиком предполагает существование у нас догмы. Но, если существует партия, у которой *нет догмы*, то это социал-демократия, а если были люди, осудившие догматизм окончательно, очистившие от него наши головы, — то это были Маркс и Энгельс... У нас нет догмы и не может быть еретиков».

2. Одиссея богоискателя

Герой «Исповеди» не социал-демократ и не рабочий, а полукрестьянин. Это следует хорошенько заметить. Повесть — его Одиссея богоискателя из «народа». Уж не народничество ли это, не народнический ли выбор темы? Увидим.

Натура страстная, с детства встретившая суровую судьбу, Матвей нашел успокоение для своей мятежной души в религии. Вдумываться в сущность человеческого богословия, а тем более христианской догмы, он еще не мог; то, что увлекало его, было религиозное чувство, восхищающее сердце от земли, по действию своему превосходящее действие самой сильной музыки. Забвение особого рода, сладкое забвение дает религия, занимая свое большое место рядом со всякими другими родами опьянения и даже далеко впереди их.

«Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, и на сердце — светло, ибо там мой Бог, и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к Богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять.

Начал книги читать церковные, — все, что было, читаю, — и наполняется сердце мое тихим звоном красоты божественного слова; жадно пьет душа сладкую влагу его, и открылся в ней источник благодарных слез. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени перед образом Троицы и лью слезы, легко и покорно, без дум и без молитвы; нечего было просить мне у Бога и бескорыстно поклонялся я Ему».

Вера в благостного Бога, так ярко выраженная в словах: «не один я на свете, а под охраной Божьей и близко Ему», вполне мирится и даже сливается в гармоничный аккорд с непосредственным впечатлением природы, когда человек подходит к ней не как трудящийся, добывающий у нее, как у мачехи, необходимого для жизни, а как любующийся ее красотой. Но скоро пришло время, когда «заметили меня люди, и я заметил их».

Если сатана не особенно тревожил Матвея, пока дело шло о природе, то ох как силен оказался он среди людей. И не только зрителем, но и участником унижительной и страшной драмы борьбы за существование и личное счастье пришлось стать Матвею.

Жизнь зацепила и его руками милой «Ольгуньки» и начала метать в своем огромном скрипучем колесе. Вся гармония веры без рефлекса пошла прахом. Праведность встретила с наглой и зубастой рожей «житейской мудрости» и сплеховала. Гордо барахтался Матвей, мучил вокруг себя, болел душою. Кто в жизни народной, трудовой, тяжелой может миновать всю эту нечистую силу? Но одних она только слегка калечит и грязно пачкает, и они с убитой, замолкшей душою или с душою озверелой начинают идти в общей давке стихийной, экономической жизни к отвратительному успеху или мучительной гибели и, наконец, — к общей яме, куда сгребает их сестра жизни, владычица-смерть.

Матвея же, благодаря обстоятельствам, гордому строю души и первым зачаткам поэтического непонимания, заложенным дьячком и скоморохом, судьба сразу как-то зашибла, все отняла, всяких прицепок к так называемому житейскому счастью лишила, облегчая ему возможность всплыть на поверхность житейского моря, бросить мир, перестать быть активным участником в его борьбе, превратиться в свободного, как птица, искателя Бога и правды, которого внутренне гложет великая тоска.

Бродячие богоискатели — это воплощение поисков человеческой совести в потемках хаотического социального строя. Сумеречными головами начетчиков, искаженными нелепыми мудрствованиями, думает душа невежественного, но опытом муки полупросвещенного народа. Израненными ногами калек переходящих гоняется страдалец-народ за правдой.

Выдающийся тип такого ходока народного за правдою берет Горький.

Что-то найдет он? Так же ли бесплодны будут его странствия, как в былые века? Примет ли он за обретенное сокровище какую-нибудь аскетическую, отрицающую человека, самоубийственную иллюзию? Найдет ли потерянное самозабвение в острых экстазах радений, этом дионисиевском, трагическом, больном взлете вон из тела и мира? Упадет ли на какой-нибудь безвестной дороге, ведущей к каким-нибудь фантастическим «Рахманам», в царстве пресвитера Ионы, к исчезающим коленам Израиля, которые где-то на «Белых водах» нашли соци-

альный мир, осуществили «жизнь по совести»? Или, опустившись и потеряв в грязи осенних распутиц и по трапезням монастырей сокровище своего беспокойства, превратится в профессионального странника, ищущего одного пропитания телу? Или, наконец, озлобившись, уйдет в бродяги и очутится вместо «Белых вод» в рудниках Нерчинска?

Останавливаться на встречах нашего Одиссея мы не будем. Что можно тут прибавить? Автор говорит за себя. Никогда не забудутся Миха, Антоний, Мардарий и многие другие. Это такая пластика, которая ставит «Исповедь» по художественному достоинству в ряд с другими лучшими произведениями русской литературы.

Но из скитаний Матвей выносит одно мрачное отчаяние. Душа его очистилась от всех ложных иллюзий, в ней царит «честный пессимизм».

Тут он встречается Иону.

Идейная сила и совершенная новизна повести Горького заключается именно в грандиозной картине: измученный народ в лице своего ходока, своего искателя лицом к лицу сталкивается с «новой верой», с истиной, которую несет миру пролетариат.

Может ли пролетарская истина стать во всей чистоте достоянием трудовых масс?

Нет. Но, во-первых, к ней могут и должны прийти многие представители коренной крестьянской и мелкопомещанской интеллигенции и прийти так же прочно, как лучшие интеллигенты. Во-вторых, такие элементы, которые являются переходными типами к ремесленному и сельскому пролетариату, и самый пролетариат этого рода вполне могут примкнуть к знамени научного социализма, хотя в их понимании истины социализма предстанут, быть может, в другой перспективе. В-третьих, та политическая гегемония, то революционное сотрудничество, программу которых в общих чертах указал, а возможность доказал даже такой в глазах многих «узкий ортодокс», как Каутский², — несомненно будут иметь параллелью своей влияние пролетарской идеологии на мелкую буржуазию.

Итак, отнюдь не примыкая к мутной путанице эсерства, мы можем и должны стоять на той точке зрения, что влияние пролетариата на народные массы не пустой звук, а явление первой важности. Его-то и изображает Горький в «Исповеди». Засиял свет во тьме. Свет этот разливается по деревням, где еще сильна «власть тьмы», вокруг всякого города, всякого за- вода.

Свет этот объемлет прежде всего фабрично-заводской пролетариат, этот избранный народ новейшей истории, но он служит и просвещением всему окружающему. Надо радоваться этому эндосмосу, надо внимательно следить за этим огромным явлением. Книга Горького в высокой мере способна ускорить и усилить этот процесс, и в этом будет ее историческая заслуга; смешно в исполнении этой задачи видеть «народничество».

3. Вольный застрельщик

Ширится свет пролетарского мирозерцания по лицу земли русской; и причудливо, а иногда поистине прекрасно при всей оригинальности преломляется в головах самородков, которыми так богат народ.

Само собою разумеется, Иона, этот вольный застрельщик и загонщик новой истины, не удовлетворяет всем тем требованиям, которые предъявляются к сознательному партийному пропагандисту.

Но он ведь в учителя не метит, понимает свое место, да и великолепно это место.

«Ты не ищи в словах моих утверждения: я не учить хочу, а рассказывать. Утверждают те, для кого ход жизни опасен, рост правды вреден. Видят они, что правда все ярче горит — потому все больше людей зажигают пламя ее в сердце своем, — видят они это и пугаются! Наскоро схватят правды, сколько им выгодно, стиснут ее в малый колобок и кричат на весь мир: вот истина, чистая духовная пища, вот — это так! и — навеки незбылемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душат ее, за горло взяв, и мешают росту силы ее всячески, враги наши и всего сущего! А я могу сказать одно, на сей день — это так, а как будет завтра — не ведаю! Ибо, видишь ли, в жизни нет настоящего, законного хозяина; не пришел еще он, и неизвестно мне, как распорядится, когда придет: какие планы утвердит, какие порушит и какие храмы станет возводить».

В жизни нет настоящего хозяина! Кто же он? О, по отношению к нему и пролетариат нынешний только предтеча, как Иона только предтеча пролетарской мысли. Не Бог ли этот хозяин: Иона называет его именно так.

Только на каком месте стоит этот Бог?

«Кто есть Бог, творяй чудеса? Отец ли наш, или же сын духа нашего?»

Бог, о котором говорит старик, — человечество, цельное социалистическое человечество. Это единственное божественное,

что нам доступно. Этот Бог не родился еще — строится только. А кто богостроитель? Конечно, пролетариат, в первую голову в тот момент, который мы переживаем. Но вообще во всем ходе истории — опять-таки человечество, но разрозненное, еще темное. И надо вычесть из него группы, препятствовавшие росту сил и сознания этого человечества, превращению человечества бессознательного в сознательное, его светлому преображению. Эту теорию, пожалуй, назовут «народнической»? Нет же! В общем и целом она верна и с нашей точки зрения, — только знаем мы точно тот процесс, в котором совершается преобразование, и роль в нем пролетариата. В этом *точном* понимании сил, ведущих к преобразению экономического хаоса в социалистическую гармонию, — особенность марксизма по сравнению с историческим социализмом вообще, Иона дает общую истину, не определяя ее точно. И в этой общей форме она доступнее такому человеку, как Матвей. И ему, богоискателю, понятнее высокая формула, в которую облечен здесь социализм. Ищешь Бога? Бог — есть человечество грядущего, строй его вместе с человечеством настоящего, примыкая к передовым его элементам. «Вот просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщенное, уже многие ищут возможности, как слить все силы земные в единую, из ее же образуется светел и прекрасен всеобъемлющий Бог земли!»

Чудная формула. Не в наших терминах изложена, но по существу она наша. Это та же музыка, наша музыка, только играют ее на новых инструментах...

И куда же пошлет Иона нашего Одиссея, у которого смутно на душе, как перед утром? К источнику своей мудрости, источнику своеобразно в его голове преломившегося света.

«Иди-ка на завод, да работай там и с дружками моими толкуй; не проиграешь, поверь! Народ — ясный, вот — я у них учился и, видишь, не глуп, а? Написал какую-то записку, sunul мне. — Ей-ей — иди туда! Не худа желаю тебе, увидишь! Народ новорожденный и живой!»

4. Народ новорожденный

«Хожу по деревням, посматриваю. Угрюм и дерзок народ, не хочется ни с кем говорить. Смотрят все подозрительно, видимо, опасаются, не украли бы чего.

— Богостроители, — думаю я, поглядывая на корявых мужичков. Спрошу: куда дорога?

— На Исетский завод.

— Что тут — все дороги на этот завод?»

Вот простое и вместе глубоко символическое определение отношения «народа», еще совершенно хаотичного к той части народа, которой фабричный котел помог родиться вновь. Прибавлять что-либо к данному автором описанию завода и впечатления, произведенного им на душу Матвея, мы не намерены. Но мы остановимся на одном. Учитель Михаиле не еретик ли? По-видимому, коренной пролетарий Ягих сам не одобряет некоторые странности Михайлова понимания социализма. — «У Мишки на двоих разума», — говорит Ягих:

— Ты погоди, — он себя развернет! Его заводский поп ересиархом назвал. Жаль, с Богом у него путаница в голове! Это — от матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части — из православия в раскол ушла, а из раскола ее вышибли.

Что же это за «путаница» с Богом? Быть может, она понадобилась автору как дидактический прием? Может быть, Бог служит Михаилу для заманивания в свою веру таких людей, как Матвей?

Вопрос о Боге был постоянной причиной споров Михаила с дядей своим. Как только Михаила скажет «Бог» — дядя Петр сердится.

— Начал. Ты в это не верь, Матвей! Это он от матери заразился!

— Погоди, дядя! Бог для Матвея — коренной вопрос!

— Не ври, Мишка! Ты пошли его к черту, Матвей! Никаких богов! Это — темный лес: религия, церковь и все подобное; темный лес, и в нем — разбойники наши! Обман!

Но нет. Ссылкой на приверженность Матвея к богословской терминологии Михаиле только отмахивается от дяди. И для него вопрос о Боге глубокий вопрос, волнующий его собственную душу. Должны ли мы, подобно Ягих, не разбираясь в сути, слыша лишь слово «Бог», кричать: «Темный лес, обман!»? Есть ли что-либо темное в «религии» Михаила? Кроется ли в ней какой-либо обман? Матвей замечает:

— Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило; главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества Бога — и все шло хорошо.

Матвей инстинктивно становится на космическую точку зрения, религиозную точку зрения Спинозы, Геккеля³ и монистов, называя именем Бога совокупность законов вселенной, ее безграничную субстанцию. Думается, однако, что в такой «вере» есть еще порядочно тьмы и может угнездиться и обман. С

понятием «Бог» неразрывно сплетено представление о благодати, святости и совершенстве. Вывод, невольно напрашивающийся и действительно провозглашенный монистами, как идеалистами вроде Гегеля, так и материалистами от Штрауса⁴ до Геккеля — ясен: законы природы благи, святы и совершенны, человек должен благоговеть перед ними. Между тем законы природы суть лишь временные формулы, в которые мы кое-как укладываем те или другие проявления необъятного. Кроме того, они отнюдь не воля и предписание по аналогии с юридическими законами, а лишь познавательное приспособление — для собственного своего преодоления. Закон падения изучается для того, чтоб летать. Всюду должен человек дерзко пытаться природу и побеждать ее всегда кажущиеся ограничения. Всякое ограничение, как бы для того только и осознается, чтобы сначала мысленно, а потом и на деле преодолеть его.

Дух благоговения к Универсу, которым проникнут буржуазный монизм, может стать источником новых путей для человека. Сама природа, мол, изволила установить то и то, и новые вольте-рианцы напрасно против этого говорят. И пришлось бы новым вольте-рианцам разрушать нового бога-природу так, как самому старому Вольтеру — католического бога, а Геккелю — бога Вольтера и деистов.

Но Михайло, улыбаясь, говорит: «Бог еще не создан». Этим он переносит нас на совершенно новую почву. Нет ничего в мире, перед чем благоговейно склонился бы человек.

«Главное преступление владык жизни в том, что они разрушили творческую силу народа. Будет время — вся воля народа вновь сольется в одной точке; тогда в ней должна возникнуть необозримая и чудесная сила, и — воскреснет Бог! Он-то и есть тот, которого Вы, Матвей, ищете!»

То, перед чем Михайло согласен благоговеть, есть грядущая коллективная воля народа. С нею умирает, с нею рождается то великое, перед чем может склониться отдельный человек.

Мы уже предвидим первое же возражение. «И здесь скажут нам, есть великая опасность: опасность подчинения личности вашему Левиафану, вашему новому богу — коллективу». Что значит подчинение личности? В искусственном коллективе, подобном государству собственников, коллектив действительно нечто чуждое личности, здесь стадный инстинкт и общие интересы давят на индивидуальные стремления и разбивают (иногда) частные интересы. То, что есть общего в этих совершенно разрозненных людях, соединилось в одно, подавляя в них же

самих то, что есть в каждом особенного. Здесь есть тирания общества над личностью.

Но все это совершенно исчезнет в коллективе живом, органическом и творческом. Здесь личность дорога именно своими особенностями, ради общего хора, — все вечно движется: совершенство обеспечено коллективным подбором, а широта и разнообразие — индивидуальной изменчивостью. Нет раздвоения на гражданина и личность, есть только творящий, до глубины души коллективно чувствующий человек.

Даже индивидуалист Матвей при соприкосновении с пролетариатом стал чувствовать это. «Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и все более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окружает оно меня и странно приподнимает. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело мое, и я их душа и воля, на этот час. И речь моя — их голос. Бывало, чувствуешь, что сам живешь, как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его — хорошо тебе, а минет время: замолкнет он, и — снова ты один, для себя».

«Вспоминаю бывшее единение с Богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил я от себя, но как бы вырос-тал, возвышался над собою и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за мое одиночество».

И отсюда вывод, который, будучи не сказан только кончи-ком уст, не достигнут только усилием холодной мысли, но испытан живым опытом страстного сердца, — становится огромным.

«В целом ты найдешь бессмертие, в одиночестве же — неизбежное рабство и тьма, безутешная тоска и смерть».

В одном я могу упрекнуть Михайлу. Не напрасно, хотя, конечно, и огрубляя до чрезвычайности, говорит ему дядя:

«Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей! Коли говорить, что рабочий народ вызван жизнь обновлять — обновляй, а не подбирай то, что попами до дыр заношено, да брошено!»

Не то что попами! Не попами создано слово, понятие «Бог». Но вообще слишком много назад смотрит Михайло. Вместе с

надеждой на Бога — коллективное человечество — в будущем, он напрасно видит его и в прошлом.

«Бог, о котором я говорю, — был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, — Бог погиб, Бог разрушился!»

Нет, Михайло, Бога, о котором вы говорите, никогда не было. Погибшие боги народа, конечно, благороднее, глубже, чем искусственный бог новых времен, изучить их следует, ибо история их есть история характерных и необходимых заблуждений человеческого духа, но они умерли и не «воскреснут»; не то слово, не то слово!

Не будем кричать никакому золотоусому Перуну — «выдыбай, боже!» — Бог, которого хочет Михаиле, еще только должен родиться. Это — власть коллективной, разумной воли. И когда родится он? Вечно будут возникать задачи перед человеком, вечно будет он чувствовать свою ограниченность, — «еще не бог я, — еще не все моя воля, еще не бесконечно мое существо! — значит, не родился еще Бог!» И никогда не родится Бог *всемогущий*, ибо бесконечна и всеобъятна вселенная, но что за дело? Никогда не родится Бог-Абсолют, Бог *всемогущий*, но родится с упрочением социализма могучий коллективный разум — человек. У Михайлы будущее является словно возвратом к золотому прошлому. Это-то и смущает Ягих. «Обновляй», — кричит он сердито.

Новая среда не втянула и не хотела сразу втянуть в себя еще не готового человека. Матвея просветил пролетариат и отпустил таким же носителем преломленных лучей своих, каким был Иона.

— Приобщите, — прошу, — и меня к этому делу! Горит во мне все.

— Нет, — отвечал Михайло, — подождите и подумайте, рано вам!.. Есть у вас много нерешенного и для нашей работы — не свободны вы! Охватила, увлекает вас красота и величие ее, но — перед вами развернулась она во всей силе, — вы теперь как бы на площади стоите, и виден ваш посреди ее весь создаваемый храм, во всей необъятности и красоте, но он строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общий план, возьметесь за нее — исчезнут для вас очертания храма, рассеется видение, не укрепленное в душе, и труд покажется вам ниже ваших сил.

— Зачем, — с тоской спрашиваю его, — вы меня гоните? Я себе место нашел, я — рад видеть себя силой нужной...

А он спокойно и печально говорит:

— Не считаю вас способным жить по плану, не ясному вам; вижу, что еще не возникло в духе вашем сознание связи его с духом рабочего народа. Вы для меня уже и теперь отточенная трением жизни, выдвинутая вперед, мысль народа, но сами вы не так смотрите на себя: вам еще кажется, что вы — герой, готовый милостиво подать от избытка сил помощь бессильному. Вы нечто особенное, для самого себя существующее; вы для себя — начало и конец, а не продолжение прекрасного и великого бесконечного!

Это воистину прекрасно. Это живое, конкретное чувство коллективного единства — столь же необходимый элемент подлинного пролетарского социализма, как и те строгие, «холодные» формулы, в которых многие усматривают альфу и омегу марксистской ортодоксии. В эти слова «еретика» надо вдуматься каждому полусоциалисту! А много их, гораздо больше, чем сами они думают.

5. Чудо

Мощь коллектива, красота экстаза коллективной жизни, чудотворящая сила у коллектива — вот то, во что верит автор, вот то, к чему зовет он. Но не сказал ли он сам, что народ разрознен и подавлен сейчас? Не сказал ли он, что коллективизма можно искать лишь в народе новорожденном, на заводе?

Да, только тут, только в собирании коллектива классового, в медленном строении общепролетарской организации настоящая работа по преобразению людей в человечество, хотя тоже подготовительная работа. Это не значит, чтобы порывами, моментами не вспыхивало коллективное настроение, чтобы иногда и случайно не сливались кое-где человеческие массы в единоволющее целое. И вот, как символ грядущего, как бледный прообраз, — бледный по сравнению с грядущим, но яркий по сравнению с окружающим, — дает Горький свое чудо.

Некоторые шокированы обрядовой и суеверной обстановкой, наличием старорелигиозного экстаза, разношерстностью этой, скорее в общем дикой и несимпатичной толпы. За этими соображениями многие не рассмотрели сущности.

Важны тут именно наличием *общего* настроения, *общей* воли. Коллектив, правда, создан здесь искусственно и сила его фетишизируется в умах участников, но он все же создан, и

сила налицо. Дело не в том, чтобы *отрицать* начисто, а приори, а в том, чтобы понимать и оценивать. Как понять факт сладостного и грандиозного душевного подъема участников коллективных религиозных актов, факт развития в такой толпе новых сил, магнетически подчиняющих отдельные организмы? Это кусочек грядущего, говорит автор здесь случайно и искусственно произошло слияние психик. Основа всех почти чудес религиозного мира — *слияние душ*. И какова же оценка? Самая положительная по отношению к факту, самая отрицательная по отношению к его формальной оболочке. Все это ясно из размышлений Матвея после чуда:

«Видел я землю, как полную чашу ярко-красной, неустанно-кипящей, живой крови человеческой, и видел владыку ее — всемогущий, бессмертный народ.

Окрыляет он жизнь ее величием деяний и чаяний, и я молился: — Ты еси тот Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий Твоих!

Да не будут миру бози инии разве Тебе, ибо ты еси един Бог, творяй чудеса!

«Тако верую и исповедую!»

...И — по сем, возвращаюсь туда, где люди освобождают души ближних своих из плена тьмы и суеверий, собирают народ воедино, освещают пред ним тайное лицо его, помогают ему осознать силу воли своей, указывают людям единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела, — всемирного богостроительства ради!

Чудо — это знамение, а не выражение грядущего. Это не то, к чему зовет автор, а то, на примере чего он дает нам отчасти предвкусить желанное.

Но велика запуганность наша. Крестный ход? Иконы? Ризы? Кадила? — не хотим ничего слышать. Хотя бы в этих условиях развивались самые любопытные социально-психологические явления. Так нельзя.

Основной принцип марксизма — смотреть *на весь мир* глазами аналитика и диалектика, откликаться на его явления сердцем сознательного борца и безусловного коллективиста. Пусть читатель, на которого напала робость от непривычного сопоставления коллективизма и крестного хода, подойдет к могучим страницам, где описано чудо, с указанными предпосылками, и он увидит, каким прекрасным документом по психологии коллектива подарил его писатель.

Оглядываюсь на всю «Исповедь», по ее прочтении слышишь словно стройную песню. Начинается она детским экстазом, одинокой и жизнью еще не тронутой души, потом мутится и разбивается она в диссонансах, столкнувшись с диким хаосом жизни, подымается над ним в тоскливом полете, полная исканий и боли, надрывается, отчаивается, опускается медленно, черная, как тяжелый ворон, мрачная, как погребальный марш, безотрадная, как осенние тучи. И вдруг словно радуга развертывается по небу исполинским веером, все встрепенулось, все осветилось проглянувшим солнцем, словно, глотнув воды живой, подымается вновь песня, сначала робко звенит, как бы не веря счастью и спасению своему, как бы робея перед неведомой силой, приласкавшей озябшую душу. И все выше забирает, как жаворонок, и бросает трели, будто увидела сверху тот «град», которого взыскала давно и тщетно, и крепнет песня, превращаясь в славословие новой силе и новой истине, и кончается криком буревестника, обещая что-то большое, страшное, светлое! Это песня «язычника», пришедшего к церкви истинной, это признание исстрадавшегося путника перед лицом новорожденного народа — мессии:

«Ты свет в освещении языков и слава людей твоих Израиля!»

«Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать ее надобно вам».

Так начинает свою повесть Матвей.

Да, эту жизнь надобно знать.

Перед огромным фактом проникновения пролетарской истины в массы, перед фактом появления нового читателя, нового мыслителя, мучительно, напряженно рассуждающего о жизни, обществе, о мире, о себе, готовящего в лаборатории своего непривычного мозга какое-то страшное дело — дитя не инстинкта только, который плодит слепых уродцев, а и мысли — перед этим фактом жалкой мелочью является политика на поверхности и с дозволения начальства, все эти думы «Речи», значение которых «темно или ничтожно», наглые «Русские знамена»⁵ и пр., вся мышьяная возня и пискотня мещанской публицистики и неопрятность мещанской литературы!..

Там, в глубине, идет работа, звенит и шелестит что-то, как ночью тронувшиеся массы льда на реке. Там идет перемещение каких-то молекул, непреодолимый процесс группировки сил вокруг нового средоточия.

Осветив этот процесс снопами лучей, Горький вместе с тем и помог ему. Много Матвеев, не переступивших еще светлый порог, придут к нему прямее и скорее. Эта работа во имя и на пользу нашей концентрации.

Злитесь же, рыцари «доброго хаоса». Есть ли у вас мещанский нюх? Поверьте, проявленная некоторыми из вас готовность хитрить, играть на то, чтобы «поссорить» Горького с марксизмом, на то, чтобы немножечко хотя запачкать его вашими похвалами, — ошибочная тактика. И раз замолчать новые произведения Горького вам невозможно, самое лучшее все-таки ругать их. Они слишком ярки. Если же кто-либо воображает, что Горький сделал хоть полшага навстречу «доброму хаосу», — о, какое разочарование ждет такого простеца!

